

Несколько методологических вопросов по поводу интерпретации интерпретаций

Научная монография Юрате Барановой «Философия морали XX века: беседа с Кантом» (Baranova, 2004) представляет собой трансформацию традиционного позитивизма исторического дискурса в дискурс герменевтических дискуссий. Исследовательский кругозор Юрате Барановой охватывает широкую панораму нравственной философии XX века в Западной Европе и США, в ней исчерпывающе представлены более двадцати наиболее ярких философов, а кратко – свыше двухсот: «данная книга – об этике XX в.» (Baranova, 2004, 12). Тем не менее, книга не может быть названа историей этики XX века в привычном смысле слова, поскольку выполнена в типологически структурированной и фрагментарной форме. Автор сознательно избегает называть жанр своей монографии историческим, предпочтя название герменевтическое – «беседы с Кантом», и этот шаг призван оправдать все несообразности повествования: отклонения и фрагментарность. Значительна и важна авторская интенция создать философскую беседу, базирующуюся на профессиональной компетенции, с только ей присущими вопросами (Как человек должен жить? Что он должен делать?), структурировать беседу на нескольких дискуссионных уровнях, истоки которых находятся в пяти важнейших философиях – Аристотеля, Хьюма, Ницше, Канта, Гуссерля. Но в статье мы не станем обсуждать специфические проблемы нравственной философии. Указанная монография будет рассмотрена в ином ракурсе – методологическом – который позволит обсудить общие особенности интерпретационного мышления и исследования.

Каким образом в научной монографии появляется интерпретационный дискурс дискуссии?

Методологические причины того, что в монографии дискурс исторический уступил место дискурсу беседы, вполне ясны. Автор как равноправный участник дружеской беседы постмодернистских философов соглашается с ними, что время золотого века, когда, согласно платоновской теории, философия считалась наукой об истине и поиске основ познания, безвозвратно ушло в прошлое. Отказавшись от монополии одной истины, автор монографии понимает нравственную философию не как научное исследование, а как полилог разных мнений, не имеющих окончательных ответов. Отказ от научной претензии найти единственно правильный ответ

на поставленные нравственной философией вопросы, повлек за собой и отказ от монологического мышления и структуры изложения. В этом случае обсуждение нравственной философии превращается в философскую беседу, в которой получает значение семантическая фигура Другого или Третьего (социальных отношений и институций). Ведь феноменология убедила нас, что интроспекция без интерпретации ничто, она претенциозна и даже опасна, поэтому необходимо двигаться по интерпретационным кругам или закоулкам, как это назвал Рикер, для того, чтобы достичь лучшего познания себя и более точного изучения отдельных тем. Автор монографии открывает для себя и для читателя интереснейшие страницы и положения нравственной философии XX века. Автор также предлагает фрагменты их интерпретации не для того, чтобы читатель попал в безбрежное пространство их релятивности и в нем потерялся, но для того, чтобы пробудить и проблематизировать этическое мышление современного человека.

Как создается повествование в философской дискуссии?

Поскольку монография написана в герменевтической манере, она неизбежно теряет признаки философской ясности и теоретической абстрактности, тяготея к беллетристике, вследствие чего возникает особый статус повествования и повествователя. Текст монографии создает впечатление некоей двойственности: в нем сохраняются определенные связи с философией кантианства, и в то же время он создается явно в духе постмодерна, но не как теория, а как повествование, сюжетную интригу которого составляет смена ракурсов философского осмысления человека. От кантовской аргюи созерцательной «трансцендентальной ноуменальной нравственной личности» с ее императивом моральной ответственности совершается постепенный переход к современной феноменологической, контекстуальной и либеральной личности, которая в конце концов воспринимается только как «сеть убеждений, желаний и эмоций, чьи особенности не имеют никакого субстрата» (Rorty, 1991, 199). Обретения и потери такой смены философского понимания человека и его этики составляют главнейшую интригу повествования, а сама повествователь, искусно оперируя философскими противоположностями и конфликтами, настойчиво ищет собственный вариант ответа.

Создаваемая повествованием интерпретация Канта выполнена уже постмодернистски, соединив в себе научное, рациональное вслушивание в чужое мнение и собственное отношение повествователя к Канту, глубина которого выбрана достаточно произвольно. Кантовское понимание морали развивается не с помощью объективизации или субъективизации, а герменевтически, что предполагает внимательное отношение к

многочисленным мнениям, создание из них по-своему отрежиссированного спектакля дискуссии.

На стилистическом уровне монографии в жанре «дружеской беседы» стирается различие между теорией и жизненной практикой, философией и беллетристикой. Однако уровень содержания отвечает требованию высокой профессиональной компетенции. Самым интересным для повествователя было убедиться и осмыслить, кто, как и насколько сумел услышать Канта и что сказал ему в ответ, какие волны симпатий и антипатий смывали пыль с окаменевшего второго тома кантовской Критики.

Таким образом, в монографии, срежиссированной в герменевтической методологии, вполне четко указаны не только объединяющие все беседы тема и герой, но также и позиции конфликтующих дискутантов (представленные в пяти разделах, посвященных метаэтике, представителям неоаристотелевского, феноменологического, постмодернистского и неокантианского направлений). Это позволило повествователю подвергнуть судьбу категорического императива неоднозначному обсуждению и выбору с точки зрения современной ситуации.

Проблема интерпретационного объекта нуждается в отдельном обсуждении.

Для чего повествователю потребовался Кант как фигура, централизующая и организующая весь материал монографии? Выбор Канта повествователем мотивирует формальным фактором: никому из представителей нравственной философии не удалось избежать более или менее прямой дискуссии с ним. Парадигма кантовской философии актуализирована как претекст априорной, рациональной и нормативной антропологической морали, вызвавший к жизни тексты, исследующие различные направления нравственной проблематики XX века. Следовательно, жизнеспособность Канта измеряется жизнеспособностью его рецепции (что сказал Кант и как ему ответили философы XX века). При этом очень важно, что повествователь в монографии изучает рецептивность не с позиции нейтральной, а со своей собственной позиции – заинтересованного повествователя. Постепенно в монографии нравственная философия Канта представляется в зависимости от степени восприятия ее философами XX века и от степени доверия к читателю, который непременно должен иметь предварительное, хотя бы самое элементарное, представление о Канте и его категорическом императиве. Поэтому, с одной стороны, объект исследования дается сразу, а с другой – поскольку в нынешнем мире ничто не дано ясно и бесспорно, объект этот в монографическом изложении остается как бы на горизонте в тумане, из

которого он постепенно проясняется и развивается благодаря различным интерпретационным профилям. Так складывается единый сюжет повествования, интегрирующий разнообразные философские позиции.

Нравственная философия Канта представлена в монографии не как объективная данность, а как данность интерпретационная, явленная в отдельных голосах ее критиков и интерпретаторов, которым автор монографии задает один и тот же провокационный вопрос, неужто в самом деле можно назвать Канта заговаривающимся старцем, которого надо стыдиться?

Мораль, основанную на рациональных и универсальных заповедях (совпадающих с христианскими) и долге делать добрые дела, Кант создал для того, чтобы рефлексирующий о свободе своей личности человек эпохи Просвещения успешно соединил ее с проектом самосовершенствования и культурного развития. Ум и философия необходимы человеку для того, чтобы преодолеть влечение ко всяким нерациональным страстям и эгоизму. Кант словно обожествил человека, рассматривая его как свободного, умного и способного к самосовершенствованию и преодолению недостатков, к уживанию с другими свободными индивидами. Поскольку Канту, человек сделан из весьма кривого дерева, постольку и обязан придерживаться категорического императива: «Я обязан вести себя так, чтобы мог так желать, чтобы моя максима стала единственным законом» (Bаrаnоvа, 2004, 219). Этим Кант еще больше утвердил трансцендентальное значение могучего человека и еще дальше отодвинул от него привычный наивный горизонт библейских святых. Однако и кантовский человек не лишен наивности, поскольку свою разумность отождествляет с нравственностью, а для оценки конкретных жизненных проявлений применяет универсальные правила. Кроме того, проверяющий максимы в одиночестве души (Bаrаnоvа, 2004, 303), чересчур строго противопоставивший долг счастью, чрезмерно доверяющий дисциплинирующей и контролирующей силе ума, кантовский человек интроспективен и монологичен. Кантовский человек – это выдуманная, идеальная, рациональная и абстрактная личность (миф, трансцендентный субъект), находящаяся вне пределов времени, пространства и причинности. Поэтому он не очень многое может сказать современному человеку, для которого мораль представляет собой уже не абстрактное, но контекстуальное понятие. Человеческая разумность просветительского происхождения в XX веке подвергалась безоговорочному сомнению всеми без исключения интуитивистами, психоаналитиками, экзистенциалистами и постмодернистами. Монологическое говорение утратило силу в перспективе современного диалогического ведения речи: «ноуменальные кантовские личности как бы и не сталкиваются друг с другом.

Сталкиваются только феноменальные» (Varanova, 2004, 274). В антикантовских интерпретациях обожествляемый Кантом человек предстал совершенно лишенным этого ореола и демифологизированным. После этого уже невозможно без сомнения думать о кантовских моральных максимах и нравственном совершенствовании человека.

Тем не менее, как показывает автор монографии, критика Канта, указавшая на ограниченность его концепции, сама приходит к неутешительным выводам – к нравственному скептицизму, констатирующему отсутствие объективных нравственных ценностей: «Maskie, здесь опираясь на Hobbs'a, утверждает, что добром является все то, что становится объектом аппетита и желания любого человека» (Varanova, 2004, 97).

Во второй части монографии, где альтернативные мнения интерпретаторов становятся все более заметными, для читателя становится очевидным выбор повествователем для своего исследования нравственной философии именно Канта (а не, скажем, Аристотеля, Ницше etc). По ходу изложения из формальной и символической фигуры, необходимой для связного повествования о дискуссиях, Кант становится фигурой, все более заостряющей нравственную проблематику и – одновременно – все более значительной.

Какова позиция и роль повествователя в дискурсе открытой дискуссии?

Возникает вопрос, зачем повествователь, обладающая самостоятельным и сознательным взглядом на Канта, затеяла всю эту герменевтическую игру с высказываниями философов, зачем понадобился столь затянутый спектакль их мнений и цитат? Рассуждая герменевтически, понимаешь, что иначе быть не может, что самостоятельный взгляд повествователя может быть высказан не ранее, чем будет проделана определенная работа (написанная ею книга), только после научной дискуссии. Иные интерпретаторы необходимы повествователю постольку, поскольку только благодаря именно их беседам с Кантом она обретает свою позицию. Именно поэтому стоит блуждать по различным интерпретациям и терпеливо складывать рассыпанную на фрагменты мозаику нравственной философии XX века с тем, чтобы в конце концов вернуться к себе, к своему отношению к нравственным проблемам, своему отношению к Канту. Следовательно, повествователь должен обладать хотя бы несколькими качествами: заинтересованностью в избранной теме, высокой профессиональной компетенцией и активной коммуникацией с коллегами, чтобы с помощью интерпретационных кругов можно было выбрать самые лучшие ответы на вопросы о морали.

С целью показать, что это очень нелегко сделать и потому – очень интересно, автор монографии начинает с факта личной биографии. Оказывается, в Варшавской академии наук в 1995 году она случайно стала свидетелем определяющего для нее события – дебатов между двумя знаменитостями XX века – Рорти и Хабермасом. В этих дебатах, помимо прочего, прояснились их различный взгляд на Канта. Это событие стало в монографии проблемной завязкой философского повествования, а все его участники, на основании отношения к главному герою, поделены на две явно конфликтные группы: антикантианцев (небрежных, программных феноменологов и постмодернистов) и неокантианцев. По количеству и силе антикантианцы в монографии значительно превышают неокантианцев, но не в том ли заключается замысел повествователя оставить рассказ о вторых на конец, чтобы показать их беспорное значение или хотя бы их способность сравняться с первыми?

В монографии повествователь стоит как бы перед неразрешимым выбором: невозможно ни вернуться к Канту, игнорируя голос антикантианской критики, ни примкнуть к ней, поскольку она ведет лишь в порочный мир обломков моральных ценностей. Иногда этот мир, как в случае Деррида или Рорти, может и не быть совсем уж скудным, но предлагающим проект постмодернистской тайны или эстетического самопостроения человека. Этот мир раскрыт повествователем благодаря особенно талантливому вслушиванию и интеллектуальной игре. Это свидетельствует об ее открытости и несомненной родственности современному либеральному мышлению, когда философия понимается как способ писания или повествования, способность создать себя с помощью доселе неслыханных слов, когда пишущий человек становится «сильным поэтом», а «жизнь становится поэмой» (Baranova, 2004, 265). И тем не менее, это – не то, что повествователь хотела бы выбрать.

Остается последний – неокантианский шаг на пути моральных исканий. Однако и здесь повествователь остается самостоятельным мыслителем, не принимающим неокантианство безоговорочно и не признающим однозначных ответов. Ю.Баранова, ранее проявившая умение оценить каждого участника дискуссии с критической дистанции, использует этот же прием и по отношению к неокантианцам, социологизировавшим Канта («В самых популярных социальных теориях XX в. постоянно упоминается имя Канта»). Философия этики, трансформируя отношение я – ты или другой в отношение я – другой или третий, прямо переходит в политическую философию, уничтожая водораздел, ранее существовавший между ними. При таком обсуждении тема приобретает новое направление и ставит новый вопрос о том, какое значение имеет само состояние общества и общественные институции для свободного морального долга человека:

«члены благоустроенного общества больше всего стремятся вести себя правильно, и исполнение этого стремления является частью добра в их понимании» (Rawls, 1999, 498). В этом случае открытая дискуссия представляется не только эффективным средством самопознания и самопроектирования современного общества, но и средством его гармонизации.

Каковы методологические границы интерпретационного дискурса? Всякую ли беседу можно считать интерпретирующей?

Поскольку существование современного человека невозможно представить вне контекста коммуникативных систем, постольку неизбежно становится обсуждение компетенции открытого дискурса. Фуко нигилистически относился к понятию «компетенция», полагая, что любую компетенцию дискурсов контролируют и имитируют властные силы. Несмотря на постмодернистский нигилизм, неокантианцы для обоснования компетенции дискурса по-новому возродили значение моральных максим Канта. Кантовский субъект при этом воплощается в системах коммуникативной деятельности и повседневной практики. Кант становится как бы гарантом успеха всех видов коммуникации в современном обществе, потому что, по мнению Поппера, для того чтобы нам удалось договориться, необходимо усвоить некоторые нормативные принципы: не лгать, уметь логически аргументировать свою позицию, быть эмфатичными и углубиться во мнение Другого, быть достаточно самокритичными и способными обуздать эгоизм. Если мы хотим успешно общаться и участвовать в беседе, свободной от отношения силы, важно помнить о двух вещах: не только о силе рационального мышления, способствующей усмирению эгоизма и опасных страстей, непримиримо делящих всех людей на друзей и врагов, но также помнить о кантовской необходимости моральной ответственности за гармоничное согласие в своем обществе. Для успешной беседы важно не только исчерпывающее знание о предмете, но и этический жест смирения перед Другим. Вот почему потребовался Кант с его императивом моральной ответственности и долга. Вместе с тем, любой окончательный выбор ценностей, по мнению постмодернистского повествователя в монографии, уже сам по себе является иррациональным моментом восприятия: «наши фундаментальные ценности, боги и демоны, которым мы поклоняемся, являются тем, к чему мы присоединяемся, но не тем, что мы рационально выбираем» (Varanova, 2004, 323). Просветительский нравственный императив, пропущенный сквозь сети антикантианской критики и очищенный от наивности, оказывается жизненно необходимым, чтобы в современном общении и в нас лично прибавлялось больше нравственной зрелости, общительности, согласия, больше толерантности и спокойствия.

Разговор не равен разговору! Об этом вполне ясно напоминает автор книги (Ваганова, 2004, 346). Мы должны суметь ограничивать распространение опасных пустых разговоров, за которыми скрываются лишь безответственные симуляции разговора и манипуляции сильного слабыми партнерами. Следовательно, успешность беседы с Кантом, как и успешность любой дискуссии, будет зависеть от того, насколько вступивший в разговор будет компетентным, критичным и заинтересованным, насколько сумеет услышать другого, и будет ли у него чувство моральной ответственности. Повествователю в монографии Кант помогает приглушить все усиливающийся шум постмодернистских бесед, ограничить плюрализм иррациональных интерпретаций и опасность безответственности. В последнем разделе монографии «Можно ли верить в ум человека? Апфель versus Поппер» серьезно рассмотрена такая проблема нравственной философии, как недостаток рациональности, и одновременно, как оказывается, очень точно раскрыты формализм и пустота нормативности в этике Хабермаса и Апфеля.

В наше время одна нормативная этика и основывающаяся на ней коммуникация индивидов вряд ли может считаться жизнеспособной. Несмотря на всеобщее желание быть правыми, любая концепция является ограниченной. С другой стороны, непродуктивными (пустой болтовней) являются разговоры, утратившие моральную ответственность, поскольку они не могут стать гарантиями согласия в обществе. Поэтому Ю.Барановой действенным представляется лишь изложенный Поппером вид коммуникации индивидов, основанный на критическом рационализме. Согласно Попперу, имеется в виду готовность каждого выслушать критические аргументы в свой адрес и учиться на этом трудном опыте: «Это готовность сказать, что я ошибаюсь, а ты можешь быть прав; и, прилагая усилия, мы можем приблизиться к истине» (Popper, 1998, 436). Он узаконивает эгалитарность, согласно которой все участники коммуникации трактуются как равные: «Он выбирает охраняемую разумом веру в единство человечества» (Ваганова, 2004, 324). Именно такой критический рационализм, по мнению автора монографии, успешнее всего наследует и обновляет кантовский нравственный императив и наилучшим образом обосновывает открытость наших бесед и возможность договориться. Именно с его помощью каждый может проверить свою нравственную зрелость, обеспечивающую успех всех наших дискуссий и общения. Так, благодаря неокантианцам обнаруживается очень важная точка соприкосновения между кантовским категорическим императивом и интерпретационным мышлением в культуре постмодернизма.

Следовательно, в гуманитарном научном дискурсе любая интерпретация будет методологически успешной при наличии обязательных формальных

признаков: не уходить от вопросов, поставленных в конкретной дисциплине и теме, представлять разнообразие позиций и конфликт дискутирующих, у нее должен быть компетентный, активный и заинтересованный повествователь, составляющий сюжетную интригу изложения и беллетризованную игру в выражении мыслей. И вместе с тем, как и показывает вывод беседы Юрате Барановой с Кантом, успех интерпретации неотделим от опыта критического рационализма.

ЛИТЕРАТУРА

- Baranova, J. 2004. *XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu*. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.
- Popper, K. R. 1998. *Atvira visuomenė ir jos priešai*. – Vilnius: Pradai.
- Rorty, R. 1991. *Consequences of Pragmatism: Essays: 1972–1980*. – Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Rawls, J. A. 1999. *Theory of Justice*. Cambridge. – Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Some Methodological Questions Concerning the Interpretation of Interpretations

The paper, based on the study “20th Century Moral Philosophy: a Conversation with Kant” by Jūratė Baranova, deals with methodological problems of “conversation with Kant” or of the interpretation of interpretations. The main reason why scientific philosophical research was transformed into narrative of conversation or interpretation, was the authors anti-positive position and conception that philosophy is a conversation of humankind and should not be restricted to the intellectual pastime of professional academics. Moral philosophy is not able to suggest the final solution for salvation of humankind. So, the main task of the study was to create a narrative about the discussion between contemporary moral philosophy and Kant. In this case the narrative of interpretation of moral philosophy loses a theoretical abstract style and becomes more fiction. The hermeneutic narrative has its formal signs: common questions, one theme (or a hero), the conflict of interpreters, the competent and active narrator, imaginative style and critical rationalism linked with Kant’s philosophy. But the most interesting and important feature of the text of the study about moral philosophy, I should say, is its ambivalence, two opposing simultaneous voices: one rational voice comes from Kant and it tries to construct a clear moral philosophy structure and the other one comes from postmodernist thinking and it tries to show that all answers culminate in the mysterious silence.

Key words: *interpretation, discussion, narrative, categorical imperative, history of moral philosophy, postmodern ethics.*